

Спасибо, отец Александр, что согласились прийти и выслушать меня. Вы правы, я восемь лет не был на исповеди и не причащался. Но этот грех - ничто по сравнению... Когда вы меня выслушаете, то поймете... надеюсь.

Мне больше некому поведать историю своей жизни... или того, что принято называть жизнью. Марина давно ушла. С Леночкой у меня отношения сложные, особенно в последние годы. А внуки... Что внуки? У них свои дороги, с моей они не пересекаются, так получилось... Друзья? Были у меня друзья, но Господь прибрал их. Теперь моя очередь.

Сил у меня все меньше, я слишком долго готовился к исповеди... Прежде я был хорошим прихожанином, верно, отец Александр? А сейчас...

Простите. Соберусь с силами и начну... Вы не могли бы дать мне напиток, вот на столике чашка? Спасибо.

Слушайте.

Родился я двенадцатого марта сорок пятого года. Особенное число. Не знаю, оно ли принесло мне счастье... или несчастье, какого мало кто... если кто-то вообще...

Да.

Родился я в Баку, могу сказать точно, потому что ни разу не было такого, чтобы в документах значился другой город. Потом вы поймете, отец Александр, почему я это подчеркиваю. У человека должна быть одна родина, верно? Место, где родился. Я - в Баку, незадолго до победы... Священной победы, конечно, как иначе. Жили мы бедно, а кто тогда жил хорошо? Мать у меня была замечательная женщина... Ее давно нет, а я до сих пор помню ее глаза.

Знаете, каким было мое первое воспоминание? Мы ехали в поезде, яркий солнечный день, звуков не помню, только ощущение яркости, и мужчина в солдатской шинели поднимает меня на руки. Эти руки я запомнил, вот странно, мне было чуть больше года, и больше ничего я не помню из той жизни, но почему-то знаю, что ехали мы с мамой к ее брату, моему дяде Семену, он жил в селе под Тулой, работал в совхозе, и весной сорок шестого мы отправились к нему, мама хотела, чтобы я попил парного молока, прямо из-под коровы... Отец... его я не помню... то есть, не помню из той жизни, все-таки я был слишком мал. Солдата запомнил, а отца и дядю - нет, и вкус парного молока тоже остался для меня загадкой.

Я потом долго думал: откуда мне было известно, что ехали мы именно к дяде под Тулу, если в памяти остался только один кадр - переполненное купе и тот солдат?

Представления не имею. Память - странная штука, она мне потом столько загадок загадывала...

Еще помню кошмар. Не могу описать словами, нет таких слов. Когда-нибудь придумают слова, способные выразить самые глубинные человеческие ощущения, самые сложные эмоции. Язык развивается, у наших пещерных предков не было и сотой доли нынешнего словарного запаса. А мы, сегодняшние, со своим убогим русским, в котором все-то две сотни тысяч слов, покажемся нашим далеким потомкам такими же пещерными людьми, не способными выразить словами самые, возможно, важные духовные искания...

Извините, отец Александр, увлекся.

Так о чем я? Кошмар, да. До определенного возраста я не вспоминал о нем, не мог, будто в подсознании поставлен был блок, устройство, запирающее память. Помнить себя по-настоящему я стал с трех или даже четырех лет, а все, что было раньше, представлялось запертой на ключ комнатой или, если хотите, книгой со склеенными страницами. Я только понимал, что нельзя этого касаться, нельзя об этом думать - так человек обходит стороной место на дороге, где, как ему сказали, находится глубокая яма, куда он может свалиться. Сам-то он ямы не видел, может, ее и нет, но на всякий случай...

Помню детский сад на улице поэта Хагани в квартале от знаменитого бакинского бульвара, где уже в те годы было прохладно летом под еще не такими большими, как много лет спустя, но все-таки уже раскидистыми деревьями. Папа работал в музее Сталина, в огромном здании с колоннами, оформлял документы для экспозиции - наклеивал на паспарту, вставлял в рамки, называлась его должность фотомонтажист, получал он... ну, сколько мог получать простой советский служащий? Много позже, перед пенсией, его зарплата была девяносто рублей, представляете? Нет, конечно. Вы и слова такого не знаете: "советский". И фамилия Сталина вам не знакома. Я говорил о том, как нам порой не хватает слов. Но эти слова я не придумал, поверьте. Вы только слушайте, отец Александр, и поймете. Надеюсь...

Да.

Мама была бухгалтером в цехе индпошива одежды, сидела за стеклянной перегородкой и записывала числа в толстые тетради, а потом что-то считала на счетах, и после ее вычислений работницам начисляли зарплату.

Цех - большая комната в одноэтажном старом доме - находился от нас в двух кварталах, и, когда я пошел в школу, то, бывало, после уроков прибегал к маме, и работницы угощали меня снедью - пирожки там были, помню, еще что-то вкусное...

Но я забежал вперед, а от детского сада у меня остались, понятно, отрывочные воспоминания - как я на новый год был наряжен зайцем, в последний момент, перед выходом (точнее - выбегом) на сцену мне нестерпимо захотелось в туалет, и воспитательница повела меня, ругая на чем свет стоит, иначе я опозорился бы перед публикой, а в зале собрались родители, и мои папа с мамой, мне было жутко неприятно, но я ничего не мог с собой поделать, и меня ждали, а потом... потом я не помню, стресс прошел, и все стало, как обычно.

Время было послевоенное, бедное, жили мы вдвоем в маленькой комнате, восемь квадратных метров, представляете, с одним окном, выходившим на крышу соседнего одноэтажного дома, я иногда вылезал на эту крышу погулять, но соседи меня быстро сгоняли, потому что я топал у них по головам, можете себе представить, какими там были потолки...

В школе я считался первым учеником - не потому, что так уж сильно стремился к знаниям, скорее был ленив, чем усидчив, не мог просидеть над уроками больше часа-полтора, а остальные корпели до вечера, и полдня после школы я играл на улице один, заглядывал в чужие дворы, наблюдал, как жили соседи, об одном этом мог бы написать книгу. Но это была бы книга не обо мне, а о нравах большого по тем временам города, который не мог оправиться после большой беды - в войну почти у всех погиб кто-нибудь из родственников. У мамы было пять сестер и шестеро братьев, представляете, отец Александр? Сестры жили в Брянске, откуда и сама мама родом. Там и оставались в оккупацию, а братья ушли на фронт и погибли - ни один не вернулся. И сестры погибли - отступая, гитлеровцы согнали людей, как скот, в огромный сарай и подожгли со всех сторон, чтобы никто не выбрался. Помните Минскую бойню... то есть, не помните, конечно, это ведь было... Неважно.

Что вы говорите, отец Александр? Простите меня, грешного... Память моя не то чтобы выделяет кульбиты, я очень хорошо все помню, в этом моя беда, в этом вся проблема, это я и хочу вам поведать... Если бы память подвела меня хоть раз, я, возможно, прожил бы жизнь счастливым человеком, но...

В тот вечер, когда мама рассказала о трагедии своей семьи, я с трудом удержался от того, чтобы напомнить ей: как, мол, так - ведь весной сорок шестого мы с ней ездили в деревню под Тулой, к ее брату Семену. Может, мне приснилось? Я долгое время так и думал, тем более, что было еще одно воспоминание... даже не воспоминание, а его след, эмоция, застрявшая в подсознании и время от времени пытавшаяся всплыть, всякий раз неудачно, как-то до середины, я не мог уловить смысл, но... мне чудилось, и иногда я даже был в этом уверен, что отец мой, тот, что каждый вечер укладывал меня спать, когда я был маленьким, и рассказывал сказки - наверно, вычитывал их в

книгах, но мне казалось, что он придумывал сам, фантазировал сказочные импровизации... да, так вот, папа - мне так мнилось порой - не вернулся с войны, и жили мы с мамой вдвоем, я это помнил и не помнил. Когда такая память выбрасывала свои щупальца, я говорил себе, что это был сон, и опять возвращался глубинный ужас, и я убеждал себя, что животный страх, объяснения которому долгое время не было, как-то связан с памятью об отце, что-то он, возможно, сделал такое...

Глупость. Я рассказываю об этом, потому что, как вы увидите, отец Александр, тот детский ужас и мой не вернувшийся с войны отец, и погибшие мамины сестры и братья - все это через много лет сложилось в единую цепочку...

А о папиной семье я не знал ничего - странно, правда? После того вечера мама часто - будто плотину прорвало - рассказывала мне о своей сестре Марии, замечательной рукодельнице, и о своей сестре Клавдии, талантливой художнице, и о своем брате Аркадии, и, конечно, о Семене, общем любимце, погибшем, по ее словам, в последние дни войны под Льежем... В конце концов, я сказал себе: никуда мы в сорок шестом не ездили, за какие шиши мы могли куда-то поехать, если у мамы тогда не было работы, и родители едва сводили концы с концами?

Характер у меня был нелюдимым, я всех стеснялся, мне казалось, что надо мной подшучивают - иду по улице, навстречу девчонки моего возраста, смеются, зыркают в мою сторону глазами, и мне кажется, что это меня они обсуждают, надо мной смеются, и мне хотелось спрятаться, стать маленьким... Я ненавидел, когда меня вызывали к доске, мне казалось, что весь класс надо мной потешается, а больше всех - учительница, задававшая вопросы таким язвительным тоном, будто уличала меня во лжи. Я отвечал, закрыв глаза, чтобы никого не видеть, и удивлялся, когда обнаруживал в дневнике пятерку...

Что? Извините, отец Александр, я не расслышал. Закон Божий? Нет, по Закону Божию у меня в школе не было оценок, потому что, понимаете ли, не было такого предмета. Не было, и все. Нет, память у меня была замечательная, она и сейчас... Если бы я мог забыть, если бы...

И в других школах Закона Божия не было в программе. И быть не могло, потому что... Какой Закон Божий в стране победившего социализма, в стране, захватившей всю Европу до Лондона и Мадрида, в стране, где последнюю церковь снесли в году... сейчас вспомню точно... да, в сорок шестом - это был Нотр-Дам в Париже, я читал в детской энциклопедии, там и фотография была: до и после. До - высоченное здание, устремленное в небо, множество скульптурных фигур со страшными когтями и злобными лицами, ну что я рассказываю, вы прекрасно знаете, как выглядит Нотр-Дам... Конечно, такое здание следовало убрать с глаз долой... это я тогда так думал... как все, впрочем. А после - следующая фотография - красивый парк на острове, беговые дорожки, стадион, много отдыхающих...

Если я заслуживаю осуждения Господня, отец Александр, то не за это, уверяю вас, не я ведь Нотр-Дам разрушил, не я снес Кельнский собор... Нет, с памятью моей все в порядке, вы обещали выслушать меня, все мои, как вы говорите, бредни - я не заговариваюсь, отец Александр, я в здравом уме и твердой памяти, просто слушайте, прошу вас, и не прерывайте, мне недолго осталось, перед смертью люди не лгут... во всяком случае, не должны.

Ладно.

Я не знал, что такое церковь. То есть, видел две. На улице Двадцать восьмого апреля стояло красивое заколоченное, темное, все в потеках, здание - его называли Кирхой, а почему именно так, я не понимал. Еще была церковь около Парапета - так назывался сад в центре города. Церковь называлась армянской, но заколочена была так же, как Кирха. Что-то в этих зданиях было общее - мрачный фасад, наверно, и пыльные стекла, сквозь которые невозможно было рассмотреть, что внутри.

О Боге я не думал. То есть, знал, что Бога нет, об этом нам сказали в первом классе, а то и раньше. Если чего-то нет, то и думать об этом бессмысленно, верно?

Пусть это будет первый мой и самый значительный грех. Оправдывает меня то... Нет, ничего не оправдывает. Я не оправдываться хочу, а поведать... вы потом сами решите... да.

Так вот, думал я в те годы о математике, которую любил за ее независимость от прочих наук, о физике, которую обожал за красоту, и о звездах, которые своим существованием поддерживали меня в жизни, хотя я все больше убеждался, что смысла в жизни нет никакого.

Я не думал такими словами, конечно, а точнее - вовсе о смысле жизни не думал, потому хотя бы, что на этот счет все было написано в учебнике истории. Вы этого не можете помнить, отец Александр, вы по другим учебникам учились, как и я...

То есть, как и я - здесь. А в том моем учебнике черным по белому было написано на первой странице: "Смысл жизни советского человека состоит в том, чтобы вместе с партией возводить каркас светлого коммунистического будущего для всего прогрессивного человечества". До сих пор помню, хотя с тех пор было столько всякого...

Я бы и строил, наверно. Как все. То есть, как те, кто строил коммунизм на воле. Были сомневавшиеся и вовсе не верившие в светлое будущее - они тоже возводили светлое здание, на стройке каждая рабочая рука ценится, но, если строитель сомневается, он может и кирпич не там положить, верно? За ним нужен глаз да глаз, об этом каждый день в газетах писали. Сомневающихся отправляли в колонии - там они строили общее светлое будущее под присмотром людей, не сомневавшихся ни в чем.

Моего отца увезли в колонию, когда мне исполнилось одиннадцать, пятьдесят шестой год. Он был коммунистом и не мог сомневаться, потому что... ну, я не знаю. Помню, папа говорил мне: "Володя, нам так повезло, ты себе не представляешь, столько в мире горя, столько несчастных, которые даже не понимают, что мы и для них будущее строим"... А его увели. Приехали ночью, я спал, и меня не стали будить, мама говорила, что отец не велел, только подошел ко мне, откинул занавеску (комната у нас была маленькая, и спал я за занавеской, хороший у меня был тогда сон, глубокий, я ничего не услышал), посмотрел на меня и ушел, не сказав больше ни слова.

И писем не было. Из колоний писать запрещали, а мама отцу писала, но доходили письма или застревали в дороге - одному Богу известно...

Я мечтал, что пройдет время, светлое будущее, наконец, настанет, и стройка закончится. Тогда папу, конечно, отпустят...

Наше военное поколение получилось совсем слабым, не только по себе сужу, у меня был друг Фариз, жил он с матерью и бабушкой в соседнем дворе. Дружили мы до третьего класса, когда оказалось, что у Фарика слабые легкие, и его от школы отправили - посреди учебного года, заметьте, - в детский санаторий, где начальником был известнейший в Баку детский врач по фамилии Гиндилис. Как-то и меня мама к нему на прием водила, я тогда в очередной раз болел ангиной, и Гиндилис маме долго про меня рассказывал, качая головой. Но я о чем... Санаторий был для чахоточных, но я этого не знал тогда, и Фарик тоже. А может, знал, но не сказал мне, когда прощались. "Побуду, - мол, - месяц, и вернусь, ты мне задания записывай, хорошо?" Но Фарик не вернулся, а однажды я на перемене услышал, как математичка Эсфирь Моисеевна разговаривала с физиком Бабкеном Вартановичем и сказала: "А где Намазова похоронят - на санаторском кладбище или домой отдадут, матери?" Что ответил Бабкен, я не расслышал, меня эта новость такшибанула, что у меня, похоже, отрубился слух, я потом весь день не понимал ничего, когда ко мне обращались...

И мама Фарика пропала, больше я ее не видел, а заходить к ним домой мне моя мама не велела - чтобы не заразился, хотя Фарика там уже не было и микробов его тоже, наверно...

Я и сам часто пропускал школу - то ангина, то оэрзэ какое-то, поднималась температура, все болело, я лежал под ватным одеялом, дрожал от холода, пил стакан за стаканом горячий чай с лимоном, который терпеть не мог. Кровать стояла напротив выходившего на крышу окна, и как-то

я слышал удивительные звуки - чистые, бравшие за душу. Потом звук изменился и стал таким, будто кто-то водил железкой по стиральной доске, и вдруг опять полились чарующие мелодии... Потом и в другой жизни я узнал, что это была Песня индийского гостя из оперы Римского-Корсакова "Садко". Когда мама пришла с работы, музыка уже не звучала. Выслушав мой рассказ, мама сказала, что в соседнем доме получил квартиру учитель музыки, бывший скрипач оперного театра. Он на пенсии, вот и подрабатывает, берет учеников. И так мне захотелось... Но я промолчал, прекрасно понимая, что учиться играть на скрипке мне не светит - во-первых, инструмент стоит, наверно, больших денег, а во-вторых, платить за мои занятия мама, конечно, не сможет, денег едва хватало от зарплаты до зарплаты.

Но было, наверно, в моем лице что-то... а может, мама сама хотела отдать меня учиться музыке. В общем, когда я поправился, пошли мы с ней к Иосифу Самойловичу. Учитель оказался стареньким и сухоньким, лет ему, как мне казалось, было больше ста, а на самом деле, скорее всего, около шестидесяти. Он поставил меня рядом с черным пианино - я-то думал, что в руки мне дадут скрипку, - заставил повторять разные звуки и сказал, что слух у мальчика абсолютный, а это редкость. Мама ему объяснила насчет стоимости инструмента и отсутствия денег. Извините, говорит, просто хотела убедиться, что у сына способности, мы уж как-нибудь, если деньги появятся...

Старик-скрипач замахал руками и сказал, что он, мол, и без денег возьмется, потому что случай уникальный, и скрипка у него старая имеется, я могу пользоваться, пока мама не накопит на инструмент.

Стал я ходить после школы к Иосифу Самойловичу, и это были самые счастливые дни того моего детства. Но счастье продолжалось недолго. Я опять подхватил ангину, неделю провалялся в постели... Зима выдалась холодной, даже снег пару раз в Баку выпал, топили мы опилками, набирали в мешок в мебельной мастерской, хорошо хоть, тащить недалеко приходилось, всего два квартала. Посреди комнаты стояла печка-буржуйка, от которой отходила в окно труба. Такие же трубы торчали из многих окон, и дым над улицей, бывало, стоял, будто над заводом, перерабатывавшим нефть в Черном городе.

После очередной ангины мама повела меня к частному доктору, не Гиндилису, он дорого брал, а к Кажлаевой. Лучше бы не ходили. Впрочем, Нина Сергеевна ни при чем, зря я на нее наговариваю. Милейшая женщина и врач, наверно, отличный - она меня всего обслушала и обстучала и сказала, что, если мне срочно не удалить гланды, то порок сердца обеспечен, шумы очень сильные, а через год-другой оперировать будет нельзя, потому что у мальчика начнется переходный возраст.

В общем, сейчас или...

"Тебе в горле все заморозят, - сказала Нина Сергеевна, - ты ничего и не почувствуешь, а потом, кстати, будешь целую неделю питаться одним мороженым, пока ранка не заживет".

В больницу меня мама отвела холодным ноябрьским утром пятьдесят восьмого года. Семнадцатого, через десять дней после праздников. Помню руки доктора - оперировал профессор Кажлаев, муж Нины Сергеевны, замечательный, говорят, был хирург. Последнее, что запомнил в той жизни - огромные руки, нависшие надо мной, холод в горле, пальцы, которые меня раздрают, потолок больницы, лампу, слепившую глаза...

И ничего больше.

Или не умер? Не получилось? Не хватало еще действительно умереть, чтобы меня хоронили, а Марина пришла на похороны с Ахмедом, он над моей могилой рассказывал бы ей анекдоты, а она смеялась - заливисто, как только она и умела...

Такой была первая мысль, когда я открыл глаза и увидел...

Нет, правильнее сказать: такой была первая мысль, когда я увидел... потому что глаза я, вообще-то, не открывал, они у меня были открыты, и смотрел я очень внимательно и, похоже, давно, потому что глаза слезились, и я протер их пальцами, прежде чем понял, что происходит странное.

Я точно помнил, как минуту (или прошло больше времени?) назад влез на табуретку и повис в воздухе, ломая шейные позвонки. Я точно помнил, как минуту назад у меня хрустнуло что-то в горле, и была дикая боль, а потом появились и растворились в воздухе ангелы.

Ничего на самом деле у меня не болело - я сразу понял, что это моя ложная память, точнее, одна из двух теперь моих ложных памятей - вдруг включилась в самый неподходящий момент. С памятью всегда так - думаешь когда надо о чем положено, и вдруг вспоминается, как мама заняла денег у своей подруги Доры, и мы втроем (не с Дорой, конечно, - папа, мама и я) поехали отдыхать на дачу в Шувеляны. Инжировые деревья (правда, плоды еще были зеленые), песчаные барханы, километр до пляжа, гамак, подвешенный на деревьях во дворе, я там спал днем, мама жарила яичницу с помидорами, а папа приезжал после работы, ему до дачи было ближе, чем до города, он тогда работал на промысле...

Дачу я всегда вспоминал с удовольствием, а то, что явилось вдруг... Ужасно, но я точно знал, что это случилось со мной, это была моя память и моя другая жизнь, так страшно закончившаяся только что и перекатившаяся целиком... Откуда? Куда?

Когда память вошла в меня, потеснив другую мою память о другой моей прервавшейся жизни, я сидел на "политическом часе". Нас оставили после уроков, все старшие классы, и завуч Мартын Ервандович, без обеих ног, оставленных в сорок третьем где-то в Белоруссии, рассказывал о последних международных событиях, о том, что Мао совсем обезумел, и все люди доброй воли должны объединиться против китайской угрозы. Если не прекратить сейчас безумную экспансию пекинского диктатора, то завтра у Китая появится атомная бомба, и тогда станет совсем туго, в том смысле, что у "Кормчего" возникнет (да уже и зреет, все знают) желание отторгнуть от Советского Союза Сибирь и Дальний Восток, и все народы Азии должны вместе с народами Европы и Америки, ну, может, Африка тоже присоединится, не говоря об Австралии...

А я думал: это из-за Маринки Аллахвердовой я руки на себя наложил? То есть, мог наложить? То есть, наложил, да, я еще рукой по шее провел, так и ощущая жесткое прикосновение веревки. Шея на самом деле ничуть не болела, но память была такой острой, что я боялся глотнуть...

Обернулся и посмотрел на четвертую парту у окна - Марина там сидела со своей вечной подругой Танькой Теплицкой. Ну-ну, подумал я, из-за этой коровы еще и страдать? Да лучше повеситься! Странная была мысль после того, как я действительно... Марина уловила мой взгляд, скорчила рожу, как она умела, и стала действительно похожа на корову, жующую траву. Я отвернулся и стал смотреть на карту, которую Мартын развесил на доске: Дальний Восток, советско-китайская граница, здесь китайцы строят военные укрепления, и вам, мальчики, когда вы пойдете в армию, надо будет сражаться против угрожающей нам желтой напасти...

Так о чем я, отец Александр?.. Простите, мысли, будто белки, - скачут, как хотят. Не то, что память. Три мои памяти, две старые и одна новая, разделились в голове на три русла, будто три дороги, идущие параллельно. Я никогда не путал себя с другим собой, ни разу. Это, наверно, как с языками... Мне языки не давались, я более или менее выучил английский, потому что он мне оказался нужен по работе... не везде, правда, но бывало. Читал литературу, научную, конечно, с художественной было сложнее. Но знал людей-полиглотов, которые свободно говорили на двух десятках языков и уверяли, что никогда не путают и не вставляют французские слова в португальскую речь, а латынь - в современный итальянский. Я тоже... только не с языками, а с собственной памятью.

Вот. Той ночью я лежал на своей тахте за занавеской, накрывшись с головой одеялом, и думал, как другие справляются с реками своих памятей. Мама, например. Она была очень чувствительной женщиной, чуть что - в слезы. Жизнь была такая, что я редко видел маму не заплаканной, разве что

в летние месяцы, когда мы ездили на дачу, и она обо всем забывала, кроме меня, папы, моря и яичницы с помидорами, которую жарила каждый день, а бывало, и дважды, если на ужин папа ничего не привозил из промыслового магазина, где по рабочим карточкам можно было и мяса купить - когда его завозили, конечно.

Я лежал и думал: может, спросить завтра у мамы (спросить у папы мне в голову не приходило - просто не приходило, и все), как она справляется со своими воспоминаниями. Это ж рехнуться можно! Впрочем, я уже тогда знал, что не рехнусь - никто от этого с ума не сошел, значит, и мне не грозит. Нужно держать памяти в себе, рассказывать только о том, что происходило в этой моей жизни, той, что я помнил... ну, скажем так, под номером первым, а об оборванных дорогах номер два и три никому говорить не надо - наверно, это страшный проступок, вроде как выходить на улицу голым. Никто никогда (при мне, во всяком случае) не рассказывал о своих "других" воспоминаниях.

Отец Александр, я понимаю, вы мне не верите. Не верите, я вижу по вашим глазам. Я тоже не поверил бы, если бы мне рассказали. Сейчас-то я знаю, ученый уже, точнее - наученный собственным опытом. А тогда, в шестнадцать, какой у меня был опыт? Только две собственные смерти... три, на самом деле, но о третьей я еще не догадывался, не знал, что я и ее, оказывается, помню... Впрочем, не буду забегать вперед.

В начале шестидесятых, вы должны помнить, отец Александр... То есть, что я говорю... Вы, конечно, помните себя в шестидесятые, и я помню, но я говорю не о той памяти. Ах, в общем, я имею в виду шестидесятые годы, на которые пришлось мое отрочество. Впрочем, какое именно? Первое, скажем так. Это был советский Баку, город, кстати, почти не менялся от меня-одного ко мне-другому. С другом моим Сашей мы жили по соседству, отец у него был полковником, и дома уже в те годы стоял большой... по тем временам, конечно... телевизор "Рубин", и огромные напольные часы с боем, и вообще квартира была шикарная, три комнаты, высоченные потолки. А Сашка, кроме обычной нашей школы, учился еще в Доме офицеров играть на кнопочном аккордеоне и каждый день демонстрировал мне свои успехи - "Чардаш" Монти, как сейчас помню, а высшим его достижением были "Полет шмеля" и увертюра к "Руслану". Играл он на время - "Шмеля" бацал за пятьдесят три секунды, а "Руслана" - ровно за пять минут и репетировал, чтобы сыграть еще быстрее, будто спринтер, которому непременно надо пробежать стометровку меньше, чем за десять секунд. А я слушал и в душе жалел, что так никогда и не пробовал играть ни на каком инструменте. Помнил, конечно, и про Иосифа Самойловича, и про герра Хенкеля, но это, хотя и происходило со мной, но не здесь. Здесь и сейчас я не умел и не пробовал играть - у нас часто денег не хватало даже на мясо по карточкам, какая тут скрипка...

У Сашки было прозвище - Бежан, не знаю почему. Меня, кстати, в школе звали Пиктом, и пусть мне кто-нибудь объяснит, что означало это слово! О будущей войне с Китаем я больше слышал от отца Бежана, чем в школе на политзанятиях. Полковник был своим парнем, часто играл с нами в "дурака" и в "пьяницу", проигрывал и почему-то очень этому радовался. По-моему, он не любил проигрывать в жизни и потому - для равновесия - старательно продувался в карты, для компенсации, видимо.

О Китае он с нами не говорил, но мы слышали его разговоры с женой, Сашиной мамой. Получалось так, что война будет, Мао решил, что он Эсэсэсэс людскими резервами забросает, у него армия пять миллионов, а надо - так и гражданское население под наши танки пустит, значит, придется атомную бомбу на Пекин бросить, Мао это понимает, и только потому военные действия еще не начались, хотя китайские дивизии развернуты по всей линии границы, нужно только отдать приказ о наступлении. Наши заставы тоже, конечно, укреплены, бояться неожиданного нападения не приходится, но ситуация неприятная... очень неприятная... втройне неприятная, потому что, если... то есть, не если, а когда начнется, то на фронт загремят все, как раз то поколение, что сейчас учится в десятом классе и на первых курсах высших учебных заведений. Значит, и Сашенька? Обо мне, кстати, они ни разу не вспомнили, но Сашеньку надо было спасти. От чего спасти, я, честно скажу, тогда не понимал. Это же хорошо: пойти бить китайцев, ну и что, если их сто на каждого

нашего? Зато у нас техника, "броня крепка, и танки наши быстры", а у китайцев, всем известно, старье, после войны отобранное у японцев, ничего своего за полтора десятилетия они не создали, и мы их одной левой, а если действительно атомную бомбу бросить, то и без рук можно справиться. И те, кто успеют к раздаче, станут героями. Поедут на военный парад в Москву, пройдут строем по Красной площади, и Хрущев будет махать шляпой...

В общем, юношеский бред по полной программе. Пропаганда и агитация. Я готов был гнать китайцев до самого Пекина и дальше - утопить в Желтом море.

После школы поступил на физический факультет нашего Бакинского университета. Вообще-то, я хотел стать журналистом, выпускал школьную стенгазету, любил сочинять новости. Сочинять, да, настоящие новости казались мне скучными. Почему-то я воображал (и вряд ли был далек от истины), что журналисты-профессионалы новости для газет тоже, в основном, сочиняли. Но на журналистский факультет принимали только национальные кадры, была такая установка сверху, а на физику брали всех, даже евреев - впрочем, в нашей группе ни одного еврея не было, только русские и армяне, так получилось.

А Бежан уехал поступать в Питер на факультет востоковедения, там готовили военных переводчиков, и полковник правильно рассудил: если сыну армии не избежать, то служба переводчиков - самое безопасное место. Пленных ожидается много, каждого надо допросить. Понятно, в тылу, в первом отделе. Так что для переводчиков работа найдется.

Больше мы с Бежаном не виделись. Но меня он пережил, точно. Во всяком случае, последнее письмо я от него получил, когда наша часть встала на позиции вдоль речки Урми, есть такой приток Амура. Мне пришло тогда три письма - от мамы, она мне писала раз в неделю, больше не разрешали, военная почта не резиновая, еще были письма от Бежана и от Галиба Бархалова, я о нем не рассказывал, он в моей истории никакой роли не играет, университетский знакомый, он-то, в отличие от меня, учился на журналистике, и когда началась война, писал для газеты "Бакинский рабочий" фельетоны о злых китайцах, ползущих на левый берег Амура... и так далее. Я бы и лучше сумел написать - я ведь видел эти толпы, ряды, колонны... жуткое зрелище. Понимаешь, что ни твой автомат, ни "катюши", которыми мы их лупили, ни танки, ездившие по их телам, как по чистому полю... ничто не поможет, сотни погибнут, тысячи встанут на их место. На этот раз пропаганда не врала, я на своей шкуре убедился.

Мама была в своем репертуаре: требовала, чтобы я заматывал шею шарфом, потому что, хотя на дворе сентябрь, но на Дальнем Востоке уже сыро и осень. Папу, писала она, поставили прорабом на участок в Балаханах, зарплату повысили, и в будущем году мы сможем поехать на лето в Кисловодск, папе это нужно, потому что у него обнаружили язву, и доктор сказал, что ему показаны минеральные северокавказские воды.

Бежан в своем письме был краток: весь их курс, естественно, мобилизовали, и он занимался своим прямым делом - в тылу, конечно, а где именно, писать нельзя, все равно военный цензор вымарает...

На следующее утро началась атака - первая и последняя, потому что убило меня почти сразу, я не успел ни одного китайца увидеть вблизи, посмотреть ему в глаза. Всю ночь с китайского берега били пушки, а наши не отвечали. Я не понимал почему, и кто-то объяснил, что у нас все цели пристреляны, незачем сейчас открывать себя, вот утром, когда рассветет...

Я не спал, даже не пытался - некоторые пробовали, а кое-кто храпел, привалившись к стенке окопа и не выпуская из рук автомат. А я дрожал то ли от холода, то ли от страха, безотчетного и, как мне казалось, глупого, нам ведь сто раз объясняли, что китайцы плохие вояки, берут числом, а не умением. У нас сила, мы, пехота, пойдем, когда артиллерия сделает свое дело, и когда сделают свое дело ракетчики, и когда танки проутюжат местность, добывая оставшихся, а потом еще саперы... и только после них пойдем мы занимать территорию.



Рано утром, солнце только взошло, ударили пушки - звук был такой, будто небеса грохнулись оземь и всех придавили, прежде всего китайцев, но и нам досталось, от грохота заложило уши, и я до конца своей жизни - впрочем, сколько ее оставалось, несколько минут - ничего больше не слышал, даже команды офицеров. Увидел: справа и слева от меня все поднимаются, вылезают из окопа и бегут... Я тоже вылез, побежал и что-то кричал, не помню что, может, просто "а-а-а!". Куда бежали - не знаю. По идее, бежать надо было к берегу, где переправа, понтонные мосты, по которым до нас проехали орудия и танки, но я ничего перед собой не видел, мыслей не было, кроме одной: не упасть бы, а то свои затопчут.

И все. Последнее, что я увидел в той жизни: вспухающий земляной холм, устремившийся в небо. Без звука. Наверно, если бы слух у меня сохранился, я бы услышал свист снаряда... а может, и не услышал бы, не знаю. Что-то резануло меня по груди, по ногам, по голове - боль была хотя и ужасная, но такая мгновенная, что можно сказать: я толком ничего не успел почувствовать. Должно быть - это я потом так решил, - осколками меня просто изрешетило, и умер я сразу. Или почти сразу, потому что какое-то время происходило странное: я будто высоко подпрыгнул, то есть, не я, тело мое уже умерло, но что-то... то, что еще оставалось мной... сознание, наверно... в общем, я увидел сверху, как бегут люди, как рвутся снаряды, продолжалось это очень недолго, я не могу назвать время, мне показалось, что прошло несколько минут, но думаю, что на самом деле - доли секунды. Я успел понять: со мной кончено. Жутко стало жаль маму.

С мыслью о том, как родители воспримут мою гибель, я оказался там, где мне довелось прожить лучшие свои годы.